Избранное

Автор:

Всеволод Гаршин

Избранное

Всеволод Михайлович Гаршин

«...Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте, ловила комаров да мошку, весною громко квакала вместе со своими подругами. И весь век она прожила бы благополучно – конечно, в том случае, если бы не съел ее аист. Но случилось одно происшествие. Однажды она сидела на сучке высунувшейся из воды коряги и наслаждалась теплым мелким дождиком...»

Всеволод Михайлович Гаршин

Избранное

Сказки

Лягушка-путешественница

Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте, ловила комаров да мошку, весною громко квакала вместе со своими подругами. И весь век она прожила бы благополучно – конечно, в том случае, если бы не съел ее аист. Но случилось одно происшествие. Однажды она сидела на сучке высунувшейся из воды коряги и наслаждалась теплым мелким дождиком.

«Ах, какая сегодня прекрасная мокрая погода! – думала она. – Какое это наслаждение – жить на свете!»

Дождик моросил по ее пестренькой лакированной спинке; капли его подтекали ей под брюшко и за лапки, и это было восхитительно приятно, так приятно, что она чуть-чуть не заквакала, но, к счастью, вспомнила, что была уже осень и что осенью лягушки не квакают, – на это есть весна, – и что, заквакав, она может уронить свое лягушечье достоинство. Поэтому она промолчала и продолжала нежиться.

Вдруг тонкий, свистящий, прерывистый звук раздался в воздухе. Есть такая порода уток: когда они летят, то их крылья, рассекая воздух, точно поют, или, лучше сказать, посвистывают. Фью-фью-фью-фью – раздается в воздухе, когда летит высоко над вами стадо таких уток, а их самих даже и не видно, так они высоко летят. На этот раз утки, описав огромный полукруг, спустились и сели как раз в то самое болото, где жила лягушка.

– Кря, кря! – сказала одна из них, – лететь еще далеко; надо покушать.

И лягушка сейчас же спряталась. Хотя она и знала, что утки не станут есть ее, большую и толстую квакушку, но все-таки, на всякий случай, она нырнула под корягу. Однако, подумав, она решилась высунуть из воды свою лупоглазую голову: ей было очень интересно узнать, куда летят утки.

– Кря, кря! – сказала другая утка, – уже холодно становится! Скорей на юг! Скорей на юг!

И все утки стали громко крякать в знак одобрения.

– Госпожи утки! – осмелилась сказать лягушка, – что такое юг, на который вы летите? Прошу извинения за беспокойство.

И утки окружили лягушку. Сначала у них явилось желание съесть ее, но каждая из них подумала, что лягушка слишком велика и не пролезет в горло. Тогда все они начали кричать, хлопая крыльями:

– Хорошо на юге! Теперь там тепло! Там есть такие славные теплые болота! Какие там червяки! Хорошо на юге!

Они так кричали, что почти оглушили лягушку. Едва-едва она убедила их замолчать и попросила одну из них, которая казалась ей толще и умнее всех, объяснить ей, что такое юг. И когда та рассказала ей о юге, то лягушка пришла в восторг, но в конце все-таки спросила, потому что была осторожна:

– А много ли там мошек и комаров?

– О! целые тучи! – отвечала утка.

– Ква! – сказала лягушка и тут же обернулась посмотреть, нет ли здесь подруг, которые могли бы услышать ее и осудить за кваканье осенью. Она уж никак не могла удержаться, чтобы не квакнуть хоть разик.

– Возьмите меня с собой!

– Это мне удивительно! – воскликнула утка. – Как мы тебя возьмем? У тебя нет крыльев.

– Когда вы летите? – спросила лягушка.

– Скоро, скоро! – закричали все утки. – Кря, кря! кря! кря! Тут холодно! На юг! На юг!

– Позвольте мне подумать только пять минут, – сказала лягушка, – я сейчас вернусь, я наверно придумаю что-нибудь хорошее.

И она шлепнулась с сучка, на который, было, снова влезла, в воду, нырнула в тину и совершенно зарылась в ней, чтобы посторонние предметы не мешали ей размышлять. Пять минут прошло, утки совсем было собрались лететь, как вдруг из воды, около сучка, на котором она сидела, показалась ее морда, и выражение этой морды было самое сияющее, на какое только способна лягушка.

– Я придумала! Я нашла! – сказала она. – Пусть две из вас возьмут в свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а я ехать. Нужно

только, чтобы вы не крякали, а я не квакала, и все будет превосходно.

Хотя молчать и тащить хоть бы и легкую лягушку три тысячи верст не бог знает какое удовольствие, но ее ум привел уток в такой восторг, что они единодушно согласились нести ее. Решили переменяться каждые два часа, и так как уток было, как говорится в загадке, столько, да еще столько, да полстолько, да четверть столько, а лягушка была одна, то нести ее приходилось не особенно часто. Нашли хороший, прочный прутик, две утки взяли его в клювы, лягушка прицепилась ртом за середину, и все стадо поднялось на воздух. У лягушки захватило дух от страшной высоты, на которую ее подняли; кроме того, утки летели неровно и дергали прутик; бедная квакушка болталась в воздухе, как бумажный паяц, и изо всей мочи стискивала свои челюсти, чтобы не оторваться и не шлепнуться на землю. Однако она скоро привыкла к своему положению и даже начала осматриваться. Под нею быстро проносились поля, луга, реки и горы, которые ей, впрочем, было очень трудно рассматривать, потому что, вися на прутике, она смотрела назад и немного вверх, но кое-что все-таки видела и радовалась и гордилась.

«Вот как я превосходно придумала», – думала она про себя.

А утки летели вслед за несшей ее передней парой, кричали и хвалили ее.

– Удивительно умная голова наша лягушка, – говорили они, – даже между утками мало таких найдется.

Она едва удержалась, чтобы не поблагодарить их, но вспомнив, что, открыв рот, она свалится со страшной высоты, еще крепче стиснула челюсти и решила терпеть. Она болталась таким образом целый день: несшие ее утки переменялись на лету, ловко подхватывая прутик; это было очень страшно: не раз лягушка чуть было не квакала от страха, но нужно было иметь присутствие духа, и она его имела. Вечером вся компания остановилась в каком-то болоте; с зарею утки с лягушкой снова пустились в путь, но на этот раз путешественница, чтобы лучше видеть, что делается на пути, прицепилась спинкой и головой вперед, а брюшком назад. Утки летели над сжатыми полями, над пожелтевшими лесами и над деревнями, полными хлеба в скирдах; оттуда доносился людской говор и стук цепов, которыми молотили рожь. Люди смотрели на стаю уток и, замечая в ней что-то странное, показывали на нее руками. И лягушке ужасно захотелось лететь поближе к земле, показать себя и послушать, что об ней говорят. На следующем отдыхе она сказала:

– Нельзя ли нам лететь не так высоко? У меня от высоты кружится голова, и я боюсь свалиться, если мне вдруг сделается дурно.

И добрые утки обещали ей лететь пониже. На следующий день они летели так низко, что слышали голоса:

– Смотрите, смотрите! – кричали дети в одной деревне, – утки лягушку несут!

Лягушка услышала это, и у нее прыгало сердце.

– Смотрите, смотрите! – кричали в другой деревне взрослые, – вот чудо-то!

«Знают ли они, что это придумала я, а не утки?» – подумала квакушка.

– Смотрите, смотрите! – кричали в третьей деревне. – Экое чудо! И кто это придумал такую хитрую штуку?

Тут лягушка уж не выдержала и, забыв всякую осторожность, закричала изо всей мочи:

– Это я! Я!

И с этим криком она полетела вверх тормашками на землю. Утки громко закричали; одна из них хотела подхватить бедную спутницу на лету, но промахнулась. Лягушка, дрыгая всеми четырьмя лапками, быстро падала на землю; но так как утки летели очень быстро, то и она упала не прямо на то место, над которым закричала и где была твердая дорога, а гораздо дальше, что было для нее большим счастьем, потому что она бултыхнулась в грязный пруд на краю деревни.

Она скоро вынырнула из воды и тотчас же опять сгоряча закричала во все горло:

– Это я! Это я придумала!

Но вокруг нее никого не было. Испуганные неожиданным плеском, местные лягушки все попрятались в воду. Когда они начали показываться из нее, то с

удивлением смотрели на новую.

И она рассказала им чудную историю о том, как она думала всю жизнь и, наконец, изобрела новый, необыкновенный способ путешествия на утках; как у нее были свои собственные утки, которые носили ее, куда ей было угодно; как она побывала на прекрасном юге, где так хорошо, где такие прекрасные теплые болота и так много мошек и всяких других съедобных насекомых.

– Я заехала к вам посмотреть, как вы живете, – сказала она. – Я пробуду у вас до весны, пока не вернутся мои утки, которых я отпустила.

Но утки уж никогда не вернулись. Они думали, что квакушка разбилась о землю, и очень жалели ее.

Сказание о гордом Аггее

Жил в некоторой стране правитель; звали его Аггей. Был он славен и силен: дал ему господь полную власть над страной; враги его боялись, друзей у него не было, а народ во всей области жил смирно, зная силу своего правителя. И возгордился правитель, и стал он думать, что никого нет на свете сильнее и мудрее его. Жил он пышно; множество у него было богатства и слуг, с которыми он никогда не говорил: считал их недостойными. С женою своею жил в ладу, но держал и ее строго, так, что не смела она сама заговаривать, а ждала, пока не спросит ее или не скажет ей что-нибудь муж.

Жил так Аггей один, точно на высокой башне стоял. Снизу толпы народа на него смотрят, а он не хочет никого знать и стоит на своем низеньком помосте; думает, что одно это место его достойно: хоть одиноко, да высоко.

Пошел в праздник Аггей в церковь. Пришел он туда с женою своею в пышных одеждах: мантии на них были златотканые, пояса с дорогими камнями, а над ними несли парчовый балдахин. И впереди их и сзади шли воины с мечами и секирами и довели их до царского места, откуда им слушать службу. Вокруг них стали начальники да чиновники. И слушал Аггей службу и думал по-своему, как ему казалось, верно или неверно говорится в святом писании.

Начал протопоп книгу читать и дошел он до того места, где написано: «богатые обнищают, а нищие обогатеют». Услышал Аггей такие слова и разгневался.

– Что ты, – говорит, – поп, вздумал читать такую ложь? Не знаешь разве, как славен я и богат? Как мне обнищать и нищему обогатеть против меня?

Протопоп же не слушал его и дальше стал читать книгу, и службу отслужил до конца, не отвечая Аггею.

И разъярился правитель: протопопа велел заковать в кандалы и посадить в темницу, а лист, на котором те слова были написаны, велел из книги выдрать.

Отвели протопопа в темницу и лист выдрали, а правитель Аггей пошел в свои палаты пировать и на пиру пил, ел и веселился.

Шел за городом один юноша и увидел оленя, такого рослого и красивого, что до тех пор и не видывал. И захотел он угодить правителю: побежал в город, пришел в его палаты и сказал об олене слугам. Донесли о том Аггею, и приказал он собираться на охоту.

Выехала охота в поле; увидели оленя и поскакали к нему. Стоит олень, голову поднял, на охоту оглядывается, будто ждет чего-то. Не видал такого зверя и сам Аггей: рослый и гладкий, морда тонкая, умная; рога как дерево ветвистое, от конца до конца целая сажень. Шерсть гнедая, блестит, как лощеная; ляжки белые, как снег. Скачет к нему Аггей и дивится, что не уходит олень, а на него все смотрит большими глазами, точно сказать что-то хочет. Подскакал Аггей, думал уж копье метнуть; повернулся зверь, взмахнул ветвистыми рогами, прынул первым скоком на три сажени и пошел по полю; конь был у Аггея такой, что и цены ему не было, а стал отставать. Обернулся правитель на своих охотников, а их уже едва и видно; посмотрел вперед на оленя и видит, что зверь пошел тише. «Ну, – думает, – догоню!» Скачет во всю конскую мочь и видит – все ближе и ближе к нему белые ляжки оленьи мелькают. Только хотел, было, копье бросить – олень обернул голову, надал – опять Аггей далеко от него. Охоты уже давно не видно, и скачут в чистом поле только олень да Аггей на коне.

Гонялся он за ним полдня; видит, наконец, что олень к реке бежит. «Ну, – думает, – если направо пойдет – пропал, а налево – мой!» Налево река луку сделала, и некуда зверю было оттуда уйти: сзади охотник, спереди река

широкая, ни человеку, ни зверю не переплыть. Повернул олень налево; задрожало у Аггея сердце от радости. Скачет, а сам думает: «Скоро река, некуда тебе уйти». Подскакал олень к берегу, а недалеко от берега островок небольшой, а на острове кусты густые и лес мелкий. Прыгнул олень со всего размаха в воду, окунулся, вынырнул и поплыл на остров. Подскакал Аггей и видит, что зверь в кусты ушел. Погнался и он коня в воду.

Ступил конь в воду, шагнул три раза и ушел в воду по шею, а дальше нога и дна не достает. Повернул Аггей назад на берег, думает: «Олень от меня и так не уйдет, а на такой быстрине, пожалуй, и коня утопишь». Слез с коня, привязал его к кусту, снял с себя дорогое платье и пошел в воду. Плыл, плыл, едва не унесло. Наконец попробовал ногой – дно. «Ну, – думает, – сейчас я его достану», – и пошел в кусты.

Разгневался господь на Аггея. Призвал он к себе ангела и повелел ему, приняв на себя вид Аггеев, одеться в его платье, сесть на коня и ехать в город. И исполнил ангел волю господню по слову его.

Искал, искал зверя Аггей по кустам – нет зверя. Весь остров кругом обошел; поперек сквозь кусты излазил – нет ничего. И не придумает Аггей, куда девался олень: впереди – река широкая, никакому зверю не переплыть; да и увидел бы он оленя, если бы тот поплыть вздумал. Досадно стало Аггею; однако делать нечего, надо назад ворочаться. Он вышел к воде, бросил копье, чтоб не мешало, и приплыл к берегу. Смотрит – ни коня, ни платья нет. Рассердился правитель, подумал, что украли, и решил строго наказать вора. Вышел он из воды, поднялся на крутой берег – чистое поле, нет никого. Нечего делать, нужно голому идти. Идет, а трава ему ноги режет; непривычны они босиком ходить; солнце печет голое тело и голову. Шел, шел Аггей, поднялся на пригорок; видит, в лощине пастух коров и телят пасет. Остановился Аггей и начал ему рукой махать.

– Эй, ты, – говорит, – поди сюда!

Пастух на него смотрит, удивляется. «Откуда, – думает, – среди чистого поля голый человек взялся?» Пошел к нему потихоньку; в одной руке кнут длинный, в другой – труба берестовая; сам в лаптях и в зипунишке худом; через плечо мешок для хлеба повешен. Аггей на него закричал:

– Ты чего не идешь, когда зовут?

- А ты кто такой? – спрашивает пастух. – Чего тебе надобно?

- Не видел ли, кто мое платье взял и коня увел?

- Да ты кто такой сам-то? – опять спрашивает пастух.

- Как, ты меня не знаешь? Я правитель ваш, Аггей.

Посмотрел на него пастух и засмеялся.

- Что ты, дурак, городишь! Правитель наш сейчас мимо меня в город с охоты проехал. Долго его тут охотники искали и нашли: вместе поехали.

- Как ты смеешь, раб, негодяй! – закричал Аггей.

- Пошел, пошел, – говорит пастух, – а то кнута отведаешь.

Не вспомнил себя правитель от гнева. Забыл он, что наг и безоружен, и бросился на пастуха. Схватил за плечо, хотел ударить, но пастух был сильнее: повалил он Аггея на землю и начал бить берестовую трубою. Бил-бил, пока береста вся не расплелась, и отошло тогда у него сердце.

- Вот, – говорит, – тебе за такие слова. Ступай!

Поднялся Аггей, весь избитый, побрел потихоньку. А пастух подумал, и жаль ему стало. «Напрасно, – думает, – я человека избидел: может, он шальной какой или сумасшедший».

Отошел Аггей немного от пастуха, слышит, тот зовет его.

- Эй ты, воротись!

Аггей обернулся, смотрит, а пастух в одной руке что-то держит, а другою рукою к себе его манит.

- Воротись! – кричит: – Куда ты голый пойдешь?... На тебе хоть мешок.

Стоит Аггей, не шевелится. Горько и стыдно стало душе его. Пастух достал нож из-за пояса, прорезал в мешке три дыры: одну для головы, а две для рук, и подошел к Аггею.

– Мешок-то у меня пустой, хлеб весь съел. Нехорошо человеку голому ходить; надень вместо рубахи.

Надел он на него мешок. Пошел Аггей, ни слова не сказавши, в город. Идет, а сам думу думает о своей напасти и не знает, откуда она на него пришла. Обманщик, видно, какой-нибудь, на него похожий, его платье взял и коня увел. И чем дальше идет Аггей, тем больше сердце у него разгорается. «Уж покажу я ему, что я Аггей – настоящий, грозный правитель. Прикажу на площадь отвести и голову отрубить. А пастуха тоже так не оставлю», – подумал Аггей, да вдруг вспомнил про мешок и застыдился.

Шел он до вечера, а до города еще далеко. Пришлось ему в поле ночевать; зарылся в копну и проспал всю ночь. Поднялся с зарею и опять пошел; недалеко от города вышел на большую дорогу. По дороге много народу в город на базар идет и едет. Догоняет его обоз; стали его извозчики спрашивать, что он за человек и отчего это он в мешок одет.

Вспомнил Аггей про пастуховы побои и побоялся сказать правду.

– Я, – говорит, – не здешний житель; ехал я через ваш город по делам, да дорогой напали на меня разбойники, всего избили и ограбили, и коня, и платье, и деньги отняли. Надели на меня мешок, да и пустили.

Пожалели его добрые люди: собрали кто рубаху, кто штаны; один дал ему опорки старые, другой – кафтан, а третий – шапку. Поблагодарил их Аггей, спросил, как зовут и где их найти, и пошел в город уже повеселее.

«Скоро, – думает, – моему мучению конец. Злодея накажу, а тех, кто мне помог, награжу».

Пошел он прямо на соборную площадь: там его палаты стояли. Думал он в свои ворота войти, не узнала его стража и не пустила. Побоялся он, как бы опять бить не стали, отошел и стал думать, что ему делать. Идти прямо в дом к себе нельзя:

пока дойдешь до обманщика, и избьют, и в тюрьму посадят, и убьют, пожалуй. «Надо потерпеть», – думает. Пошел на базар, где поденщики нанимались, и стал в толпу. Наняли его за малые деньги кирпичи на постройку носить. Трудна была ему работа: все плечи в кровь с непривычки истер, а сам весь будто разбитый. Получил он под вечер деньги и разделил их на три части: на одну хлеба купил, поел, другую про запас на ночлег оставил, а на третью купил бумаги, чтобы написать жене своей письмо. Была у них одна великая тайна: знал про нее лишь он да жена его, и чтоб поверила она письму, написал он про эту тайну и, подойдя к своему дому, увидел одну женщину из прислужниц жены и отдал ей письмо для передачи. Не узнала его в дурном платье и женина служанка. Стал Аггей недалеко от ворот, ответа поджидает.

А жена его, видя, что муж ее при ней, не могла верить тому письму. Подумала, не проговорился ли муж кому про ту тайну, и не злодей ли какой хочет смутить ее. Боялась она своего грозного мужа и знала, что если узнает он, что ей такие письма приносят, то накажет ее, не разобрав дела. И чтобы отогнать того человека, что письмо написал, и напугать его, чтобы никогда больше не смел смущать ее, приказала слугам схватить его, привести во двор и высечь жестоко. Исполнили это слуги, отпустили Аггея чуть живого. Припелся он на постоянный двор и всю ночь промучился: к утру лишь заснул. И телу его было больно, а на душе и того хуже: гнев бессильный и ярость связанная терзали его, а хуже мучения нет.

На другой день пришел праздник, и стали хозяева с постоялого двора в церковь собираться. Нарядилась хозяйка и вышла за ворота, а муж во дворе чем-то замешкался. Стала жена мужа звать.

– Иди, – кричит, – а то правитель в церковь пройдет, и не увидим его.

Услышал это Аггей и спрашивает:

– А кто у вас правитель?

– А ты не здешний, видно, что не знаешь? Правитель у нас Аггей. Правит он городом и всею областью уже двенадцать лет. Грозный у нас правитель: вчера увидела я его на улице, со страху чуть не упала.

Пошли хозяева в церковь, а Аггей не знает, что ему и думать. Махнул он рукой. «Будь что будет, – думает, – хуже того, что теперь, себе не сделаю; хоть и казнят меня, а пойду и обличу злодея». И пошел за хозяевами к собору и стал с народом на паперти, где проходить правителю.

И видит Аггей: идут его воины-телохранители с секирами и мечами, и начальники, и чиновники в праздничных одеждах. И идут под балдахином парчовым правитель с правительницей: одежды на них золототканые, пояса дорогими камнями украшенные. И взглянул Аггей в лицо правителю и ужаснулся: открыл ему господь глаза, и узнал он ангела божия. И бежал Аггей в ужасе из города.

Бежал он долго, сам не зная, где и куда. И очутился он в дремучем лесу, и упал от усталости под деревом, и долго лежал без сил и без памяти, как будто бы оставила его на время душа его.

Проснулся он ночью, и дико ему стало. Забыл, что случилось в последние три дня, и не знает, отчего звезды из-за веток смотрят на него, отчего над ним деревья от ветра шумят, отчего ему холодно и лежит он не на своей пуховой постели, а на сырой траве. Стал вспоминать и все припомнил.

И горько плакал Аггей. Вспомнил он всю жизнь свою и понял, что не за выдранный лист наказал его господь, а за всю жизнь. «Прогневал я господя, – думает, – и будет ли мне теперь пощада и спасение?»

Долго лежал он и плакал, каюсь в грехе своем и прося у бога помощи и силы. И послал ему господь силу.

Рассвело; Аггей встал, и вышел из леса, и пошел на светлый божий мир, к людям.

Год прошел, другой проходит, а жена Аггеева все думает, что муж ее вместе с нею в палатах живет. Только удивляется она, отчего муж ее стал смирен и добр: не казнит никого и не наказывает; на охоту не ездит, а только в церковь ходит да разбирает ссоры и тяжбы и мирит поссорившихся. Видится она с ним редко; посмотрит он на нее кротко, не по-прежнему, скажет ласковое слово и уйдет в свою горницу, и там затворится и сидит один.

Приступила она к нему, наконец:

– Господин мой, скажи мне, чем я прогневала тебя, что ты удалил от себя жену свою? Не знаю за собой никакой вины; за что же ты другой год меня чуждаешься? Посмотрел на нее ангел, улыбнулся тихо и сказал:

– Ничем ты меня не прогневала, любезная жена, но я дал богу обет три года не знать тебя. Вот третий год уже наступает, и скоро будешь ты жить по-прежнему с мужем своим.

Сказал и ушел в свой покой и затворился. Заплакала жена и тоже пошла к себе.

Так прожили они три года. За неделю прежде, чем пойти четвертому, отдал правитель приказ собрать со всей области нищих и убогих. Будет на правительском дворе всем им прием и угощение, и наделит их правитель дарами. Поскакали гонцы во все города, послали из городов приказ по селам и деревням, и со всех концов потянулись нищие. И не знал никто до той поры, что так много нищих в области; все дороги покрыли они: хромые, безногие, безрукие, и слепые, и слабые, и юродивые, и убогие разумом, старые и малые. Идут нищие зрячие больше по одиночке, а слепые – артелями. Собрались в город, и пришло их столько, что не только во дворе у правителя не поместились, а и всю соборную площадь заняли.

Пошел правитель в церковь, набились и нищие в церковь, те, которые попали, а другие толпою стали перед церковью на площади. Слуги же в то время на площади столы расставили, и покрыли их, и поставили на них пироги, и похлебки, и мясо, мед и вино. И сколько ни было нищих, всем места хватило.

Вышел правитель из церкви, остановился на паперти, дал знак рукой, и вся толпа стихла.

– Рад видеть вас всех, добрые люди: милости прошу хлеба-соли откусать. Садитесь по местам и кушайте, а пообедаете – еще к вам выйду.

Сказал и пошел в свои палаты. Стали за столы усаживаться; одна артель слепых целый стол заняла. Пришли эти слепые издалека; шли они тихо и долго; было их двенадцать человек, а поводырь у них был один. Шел он впереди, двое за него держались, а за тех остальные по паре. Рассадил он их по местам, а сам стал

служить: разлил им по мискам похлебку, пироги роздал, мясо нарезал, ложки в руки дал. Едят слепые, а он от одного к другому ходит и служит им.

Вот в конце обеда вышел правитель из своих палат и начал обходить столы. Кого спросит о чем, кому ласковое слово скажет, а за ним идут слуги с деньгами и платьем и всех одевают. Обошел всех и подходит к последнему столу, где слепая артель сидела. Увидел правителя поводырь – и задрожал и побледнел весь.

Подходит к нему правитель и спрашивает:

– Ты тоже нищий?

– Нет, великий правитель, не нищий я. Слуга я нищим.

– Добро сказал ты, человек. Как зовут тебя?

Потупил поводырь глаза в землю:

– Люди Алексеем зовут.

Посмотрел ему в глаза ангел, улыбнулся и говорит:

– Не всякая ложь в ложь поставится. Иди за мной.

Оставил поводырь своих слепых и пошел за правителем в палаты. Идут они через толпу, и дивятся на них все люди: идут точно братья родные. Оба высокие и статные, оба черноволосые, и оба на одно лицо: только у поводыря в густых кудрях седины много серебрится, да лицо почернело от ветра и солнца, а у правителя лицо белое и светлое.

Расступился народ, пропустил их; ушли они в палаты. Провел поводыря ангел в дальний покой и затворится с ним.

– Узнал я тебя, Аггей, – говорит правитель, – знаешь ли ты меня?

– Знаю, господин, что послан ты был наказать меня. Каюсь я в грехе моем и во всей жизни моей...

И заплакал Аггей, и плакал навзрыд. Стоит ангел перед ним: лицом просветлел и улыбается; поднял Аггей голову и перестал плакать: не видел он никогда улыбки такой.

– Кончилось наказание твое, – сказал ангел. – Возьми мантию правителю, возьми меч и жезл, и шапку правителю. Помни, за что ты наказан был, и правь народом кротко и мудро, и будь отныне братом народу своему.

– Нет, господин мой, послушаюсь я твоего веления, не возьму ни меча, ни жезла, ни шапки, ни мантии. Не оставлю я слепых своих братьев: я им и свет и пища, и друг и брат. Три года я жил с ними и работал для них, и прилепился душою к нищим и убогим. Прости ты меня и отпусти в мир к людям: долго стоял я один среди народа, как на каменном столпе, высоко мне было, но одиноко, ожесточилось сердце мое, и исчезла любовь к людям. Отпусти меня.

– Добро сказал ты, Аггей, – отвечал ангел. – Иди с миром!

И пошел поводырь Алексей со своими двенадцатью слепыми, и работал всю жизнь на них и на других бедных, слабых и угнетенных, и прожил так многие годы до смерти своей.

А ангел через три дня оставил тело правителя. Похоронили тело, и жалел народ своего правителя, который сначала гордым был, а после кротким стал.

Ангел же явился перед лицо господя.

Сказка о жабе и розе

Жили на свете роза и жаба.

Розовый куст, на котором расцвела роза, рос в небольшом полукруглом цветнике перед деревенским домом. Цветник был очень запущен; сорные травы густо

разрослись по старым, вросшим в землю клумбам и по дорожкам, которых уже давно никто не чистил и не посыпал песком. Деревянная решетка с колышками, обделанными в виде четырехгранных пик, когда-то выкрашенная зеленой масляной краской, теперь совсем облезла, треснула и развалилась; пики растащили для игры в солдаты деревенские мальчишки и, чтобы отбиваться от сердитого барбоса с компаниею прочих собак, подходившие к дому мужики.

А цветник от этого разрушения стал несколько не хуже. Остатки решетки заплели хмель, повилка с крупными белыми цветами и мышиный горошек, висевший целыми бледно-зелеными кучками, с разбросанными кое-где бледно-лиловыми кисточками цветов. Колючие чертополохи на жирной и влажной почве цветника (вокруг него был большой тенистый сад) достигали таких больших размеров, что казались чуть не деревьями. Желтые коровьяки подымали свои усаженные цветами стрелки ещё выше их. Крапива занимала целый угол цветника; она, конечно, жглась, но можно было и издали любоваться ее темною зеленью, особенно когда эта зелень служила фоном для нежного и роскошного бледного цветка розы.

Она распустилась в хорошее майское утро; когда она раскрывала свои лепестки, улетающая утренняя роса оставила на них несколько чистых, прозрачных слезинок. Роза точно плакала. Но вокруг нее все было так хорошо, так чисто и ясно в это прекрасное утро, когда она в первый раз увидела голубое небо и почувствовала свежий утренний ветерок и лучи сиявшего солнца, проникавшего ее тонкие лепестки розовым светом; в цветнике было так мирно и спокойно, что если бы она могла, в самом деле, плакать, то не от горя, а от счастья жить. Она не могла говорить; она могла только, склонив свою головку, разливать вокруг себя тонкий и свежий запах, и этот запах был ее словами, слезами и молитвой.

А внизу, между корнями куста, на сырой земле, как будто прилипнув к ней плоским брюхом, сидела довольно жирная старая жаба, которая проохотилась целую ночь за червяками и мошками и под утро уселась отдыхать от трудов, выбрав местечко потенистее и посырее. Она сидела, закрыв перепонками свои жабыи глаза, и едва заметно дышала, раздувая грязно-серые бородавчатые и липкие бока и отставив одну безобразную лапу в сторону: ей было лень подвинуть ее к брюху. Она не радовалась ни утру, ни солнцу, ни хорошей погоде; она уже наелась и собралась отдохнуть.

Но когда ветерок на минуту стихал и запах розы не уносился в сторону, жаба чувствовала его, и это причиняло ей смутное беспокойство; однако она долго

ленилась посмотреть, откуда несется этот запах.

В цветник, где росла роза и где сидела жаба, уже давно никто не ходил. Еще в прошлом году осенью, в тот самый день, когда жаба, отыскав себе хорошую щель под одним из камней фундамента дома, собиралась залезть туда на зимнюю спячку, в цветник в последний раз зашел маленький мальчик, который целое лето сидел в нем каждый ясный день под окном дома. Взрослая девушка, его сестра, сидела у окна; она читала книгу или шила что-нибудь и изредка поглядывала на брата. Он был маленький мальчик лет семи, с большими глазами и большой головой на худеньком теле. Он очень любил свой цветник (это был его цветник, потому что, кроме него, почти никто не ходил в это заброшенное местечко) и, придя в него, садился на солнышке, на старую деревянную скамейку, стоявшую на сухой песчаной дорожке, уцелевшей около самого дома, потому что по ней ходили закрывать ставни, и начинал читать принесенную с собой книжку.

– Вася, хочешь, я тебе брошу мячик? – спрашивает из окна сестра. – Может быть, ты с ним побегаешь?

– Нет, Маша, я лучше так, с книжкой.

И он сидел долго и читал. А когда ему надоедало читать о Робинзонах, и диких странах, и морских разбойниках, он оставлял раскрытую книжку и забирался в чащу цветника. Тут ему был знаком каждый куст и чуть ли не каждый стебель. Он садился на корточки перед толстым, окруженным мохнатыми беловатыми листьями стеблем коровьяка, который был втрое выше его, и подолгу смотрел, как муравьиный народ бежит вверх к своим коровам – травяным тлям, как муравей деликатно трогает тонкие трубочки, торчащие у тлей на спине, и подбирает чистые капельки сладкой жидкости, показывавшиеся на кончиках трубочек. Он смотрел, как навозный жук хлопотливо и усердно тащит куда-то свой шар, как паук, раскинув хитрую радужную сеть, сторожит мух, как ящерица, раскрыв тупую мордочку, сидит на солнце, блестя зелеными щитиками своей спины; а один раз, под вечер, он увидел живого ежа! Тут и он не мог удержаться от радости и чуть было не закричал и не захлопал руками, но, боясь спугнуть колючего зверька, притаил дыхание и, широко раскрыв счастливые глаза, в восторге смотрел, как тот, фыркая, обнюхивал своим свиным рыльцем корни розового куста, ища между ними червей, и смешно перебирал толстенькими лапами, похожими на медвежьи.

– Вася, милый, иди домой, сыро становится, – громко сказала сестра.

И ежик, испугавшись человеческого голоса, живо надвинул себе на лоб и на задние лапы колючую шубу и превратился в шар. Мальчик тихонько коснулся его колючек; зверек еще больше съежился и глухо и торопливо запыхтел, как маленькая паровая машина.

Потом он немного познакомился с этим ежиком. Он был такой слабый, тихий и кроткий мальчик, что даже разная звериная мелкота как будто понимала это и скоро привыкала к нему. Какая была радость, когда еж попробовал молока из принесенного хозяином цветника блюдечка!

В эту весну мальчик не мог выйти в свой любимый уголок. По-прежнему около него сидела сестра, но уже не у окна, а у его постели; она читала книгу, но не для себя, а вслух ему, потому что ему было трудно поднять свою исхудалую голову с белых подушек и трудно держать в тощих руках даже самый маленький томик, да и глаза его скоро утомлялись от чтения. Должно быть, он уже больше никогда не выйдет в свой любимый уголок.

– Маша! – вдруг шепчет он сестре.

– Что, милый?

– Что, в садике теперь хорошо? Розы расцвели?

Сестра наклоняется, целует его в бледную щеку и при этом незаметно стирает слезинку.

– Хорошо, голубчик, очень хорошо. И розы расцвели. Вот в понедельник мы пойдем туда вместе. Доктор позволит тебе выйти.

Мальчик не отвечает и глубоко вздыхает. Сестра начинает снова читать.

– Уже будет. Я устал. Я лучше посплю.

Сестра поправила ему подушки и белое одеяльце, он с трудом повернулся к стенке и замолчал. Солнце светило сквозь окно, выходящее на цветник, и

кидало яркие лучи на постель и на лежавшее на ней маленькое тельце, освещая подушки и одеяло и золотя коротко остриженные волосы и худенькую шею ребенка.

Роза ничего этого не знала; она росла и красовалась; на другой день она должна была распуститься полным цветом, а на третий начать вянуть и осыпаться. Вот и вся розовая жизнь! Но и в эту короткую жизнь ей довелось испытать немало страха и горя.

Ее заметила жаба.

Когда она в первый раз увидела цветок своими злыми и безобразными глазами, что-то странное зашевелилось в жабьем сердце. Она не могла оторваться от нежных розовых лепестков и все смотрела и смотрела. Ей очень понравилась роза, она чувствовала желание быть поближе к такому душистому и прекрасному созданию. И чтобы выразить свои нежные чувства, она не придумала ничего лучше таких слов:

- Пстой, - прохрипела она, - я тебя слопаю!

Роза содрогнулась. Зачем она была прикреплена к своему стебельку? Вольные птички, щебетавшие вокруг нее, перепрыгивали и перелетали с ветки на ветку; иногда они уносились куда-то далеко, куда - не знала роза. Бабочки тоже были свободны. Как она завидовала им! Будь она такую, как они, она вспорхнула бы и улетела от злых глаз, преследовавших ее своим пристальным взглядом. Роза не знала, что жабы подстерегают иногда и бабочек.

- Я тебя слопаю! - повторила жаба, стараясь говорить как можно нежнее, что выходило еще ужаснее, и переползла поближе к розе.

- Я тебя слопаю! - повторила она, все глядя на цветок.

И бедное создание с ужасом увидело, как скверные липкие лапы цепляются за ветви куста, на котором она росла. Однако жабе лезть было трудно: ее плоское тело могло свободно ползать и прыгать только по ровному месту. После каждого усилия она глядела вверх, где качался цветок, и роза замирала.

– Господи! – молилась она, – хоть бы умереть другою смертью!

А жаба все карабкалась выше. Но там, где кончались старые стволы и начинались молодые ветви, ей пришлось немного пострадать. Темно-зеленая гладкая кора розового куста была вся усажена острыми и крепкими шипами. Жаба переколола себе о них лапы и брюхо и, окровавленная, свалилась на землю. Она с ненавистью посмотрела на цветок...

– Я сказала, что я тебя слопаю! – повторила она.

Наступил вечер; нужно было подумать об ужине, и раненая жаба поплелась подстерегать неосторожных насекомых. Злость не помешала ей набить себе живот, как всегда; ее царапины были не очень опасны, и она решила, отдохнув, снова добираться до привлекавшего ее и ненавистного ей цветка.

Она отдыхала довольно долго. Наступило утро, прошел полдень, роза почти забыла о своем враге. Она совсем уже распустилась и была самым красивым созданием в цветнике. Некому было прийти полюбоваться ею: маленький хозяин неподвижно лежал на своей постельке, сестра не отходила от него и не показывалась у окна. Только птицы и бабочки сновали около розы, да пчелы, жужжа, садились иногда в ее раскрытый венчик и вылетали оттуда, совсем косматые от желтой цветочной пыли. Прилетел соловей, забрался в розовый куст и запел свою песню. Как она была не похожа на хрипение жабы! Роза слушала эту песню и была счастлива: ей казалось, что соловей поет для нее, а может быть, это была и правда. Она не видела, как ее враг незаметно взбирался на ветки. На этот раз жаба уже не жалела ни лапок, ни брюха: кровь покрывала ее, но она храбро лезла все вверх – и вдруг, среди звонкого и нежного рокота соловья, роза услышала знакомое хрипение:

– Я сказала, что слопаю, и слопаю!

Жабьи глаза пристально смотрели на нее с соседней ветки. Злому животному оставалось только одно движение, чтобы схватить цветок. Роза поняла, что погибает...

Маленький хозяин уже давно неподвижно лежал на постели. Сестра, сидевшая у изголовья в кресле, думала, что он спит. На коленях у нее лежала развернутая книга, но она не читала ее. Понемногу ее усталая голова склонилась: бедная

девушка не спала несколько ночей, не отходя от больного брата, и теперь слегка задремала.

- Маша, - вдруг прошептал он.

Сестра встrepенулась. Ей приснилось, что она сидит у окна, что маленький брат играет, как в прошлом году, в цветнике и зовет ее. Открыв глаза и увидев его в постели, худого и слабого, она тяжело вздохнула.

- Что милый?

- Маша, ты мне сказала, что розы расцвели! Можно мне... одну?

- Можно, голубчик, можно! - Она подошла к окну и посмотрела на куст. Там росла одна, но очень пышная роза.

- Как раз для тебя распустилась роза, и какая славная! Поставить тебе ее сюда на столик в стакане? Да?

- Да, на столик. Мне хочется.

Девушка взяла ножницы и вышла в сад. Она давно уже не выходила из комнаты; солнце ослепило ее, и от свежего воздуха у нее слегка закружилась голова. Она подошла к кусту в то самое мгновение, когда жаба хотела схватить цветок.

- Ах, какая гадость! - вскрикнула она.

И схватив ветку, она сильно потрянула ее: жаба свалилась на землю и шлепнулась брюхом. В ярости она, было, прыгнула на девушку, но не могла подскочить выше края платья и тотчас далеко отлетела, отброшенная носком башмака. Она не посмела попробовать еще раз и только издали видела, как девушка осторожно срезала цветок и понесла его в комнату.

Когда мальчик увидел сестру с цветком в руке, то в первый раз после долгого времени слабо улыбнулся и с трудом сделал движение худенькой рукой.

- Дай ее мне, - прошептал он. - Я понюхаю.

Сестра вложила стебелек ему в руку и помогла подвинуть ее к лицу. Он вдыхал в себя нежный запах и, счастливо улыбаясь, прошептал:

– Ах, как хорошо...

Потом его личико сделалось серьезным и неподвижным, и он замолчал... навсегда.

Роза, хотя и была срезана прежде, чем начала осыпаться, чувствовала, что ее срезали не даром. Ее поставили в отдельном бокале у маленького гробика. Тут были целые букеты и других цветов, но на них, по правде сказать, никто не обращал внимания, а розу молодая девушка, когда ставила ее на стол, поднесла к губам и поцеловала. Маленькая слезинка упала с ее щеки на цветок, и это было самым лучшим происшествием в жизни розы. Когда она начала вянуть, ее положили в толстую старую книгу и высушили, а потом, уже через много лет, подарили мне. Потому-то я и знаю всю эту историю.

То, чего не было

В один прекрасный июньский день, – а прекрасный он был потому, что было двадцать восемь градусов по Реомюру, – в один прекрасный июньский день было везде жарко, а на полянке в саду, где стояла копна недавно скошенного сена, было еще жарче, потому что место было закрытое от ветра густым-прегустым вишняком. Все почти спало: люди наелись и занимались послеобеденными боковыми занятиями; птицы примолкли, даже многие насекомые попрятались от жары. О домашних животных нечего и говорить: скот крупный и мелкий прятался под навес; собака, вырыв себе под амбаром яму, улеглась туда и, полузакрыв глаза, прерывисто дышала, высунув розовый язык чуть не на поларшина; иногда она, очевидно от тоски, происходящей от смертельной жары, так зевала, что при этом даже раздавался тоненький визг; свиньи, маменька с тринадцатю детками, отправились на берег и улеглись в черную жирную грязь, причем из грязи видны были только сопевшие и храпевшие свинные пяточки с двумя дырочками, продолговатые, облитые грязью спины да огромные повислые уши. Одни куры, не боясь жары, кое-как убивали время, разгребая лапами сухую землю против кухонного крыльца, в которой, как они отлично знали, не было

уже ни одного зернышка; да и то петуху, должно быть, приходилось плохо, потому что иногда он принимал глупый вид и во все горло кричал: «какой ска-анда-ал!!»

Вот мы и ушли с полянки, на которой жарче всего, а на этой-то полянке и сидело целое общество неспавших господ. То есть сидели-то не все; старый гнедой, например, с опасностью для своих боков от кнута кучера Антона разгребавший копну сена, будучи лошадьё, вовсе и сидеть не умел; гусеница какой-то бабочки тоже не сидела, а скорее лежала на животе: но дело ведь не в слове. Под вишнею собралась маленькая, но очень серьезная компания: улитка, навозный жук, ящерица, вышеупомянутая гусеница; прискакал кузнечик. Возле стоял и старый гнедой, прислушиваясь к их речам одним, повернутым к ним, гнедым ухом с торчащими изнутри темно-серыми волосами; а на гнедом сидели две мухи.

Компания вежливо, но довольно одушевленно спорила, причем, как и следует быть, никто ни с кем не соглашался, так как каждый дорожил независимостью своего мнения и характера.

– По-моему, – говорил навозный жук, – порядочное животное, прежде всего, должно заботиться о своем потомстве. Жизнь есть труд для будущего поколения. Тот, кто сознательно исполняет обязанности, возложенные на него природой, тот стоит на твердой почве: он знает свое дело, и, что бы ни случилось, он не будет в ответе. Посмотрите на меня: кто трудится больше моего? Кто целые дни без отдыха катает такой тяжелый шар – шар, мною же столь искусно созданный из навоза, с великой целью дать возможность вырасти новым, подобным мне, навозным жукам? Но зато не думаю, чтобы кто-нибудь был так спокоен совестью и с чистым сердцем мог бы сказать: «да, я сделал все, что мог и должен был сделать», как скажу я, когда на свет явятся новые навозные жуки. Вот что значит труд!

– Поди ты, братец, с своим трудом! – сказал муравей, притащивший во время речи навозного жука, несмотря на жару, чудовищный кусок сухого стебелька. Он на минуту остановился, присел на четыре задние ножки, а двумя передними отер пот со своего измученного лица. – И я ведь тружусь, и побольше твоего. Но ты работаешь для себя или, все равно, для своих жученят; не все так счастливы... попробовал бы ты потаскать бревна для казны, вот как я. Я и сам не знаю, что заставляет меня работать, выбиваясь из сил, даже и в такую жару. – Никто за это и спасибо не скажет. Мы, несчастные рабочие муравьи, все

трудимся, а чем красна наша жизнь? Судьба!..

– Вы, навозный жук, слишком сухо, а вы, муравей, слишком мрачно смотрите на жизнь, – возразил им кузнечик. – Нет, жук, я люблю-таки потрещать и попрыгать, и ничего! Совесть не мучит! Да притом вы нисколько не коснулись вопроса, поставленного госпожой ящерицей: она спросила, «что есть мир?», а вы говорите о своем навозном шаре; это даже невежливо. Мир – мир, по-моему, очень хорошая вещь уже потому, что в нем есть для нас молодая травка, солнце и ветерок. Да и велик же он! Вы здесь, между этими деревьями, не можете иметь никакого понятия о том, как он велик. Когда я бываю в поле, я иногда вспрыгиваю, как только могу, вверх и, уверяю вас, достигаю огромной высоты. И с нее-то вижу, что миру нет конца.

– Верно, – глубокомысленно подтвердил гнедой. – Но всем вам все-таки не увидеть и сотой части того, что видел на своем веку я. Жаль, что вы не можете понять, что такое верста... За версту отсюда есть деревня Лупаревка: туда я каждый день езжу с бочкой за водой. Но там меня никогда не кормят. А с другой стороны Ефимовка, Кисляковка; в ней церковь с колоколами. А потом Свято-Троицкое, а потом Богоявленск. В Богоявленске мне всегда дают сена, но сено там плохое. А вот в Николаеве, – это такой город, двадцать восемь верст отсюда, – так там сено лучше и овес дают, только я не люблю туда ездить: туда ездит на нас барин и велит кучеру погонять, а кучер больно стегает нас кнутом... А то есть еще Александровка, Белозерка, Херсон-город тоже... Да только куда вам понять все это!.. Вот это-то и есть мир; не весь, положим, ну да все-таки значительная часть.

И гнедой замолчал, но нижняя губа у него все еще шевелилась, точно он что-нибудь шептал. Это происходило от старости: ему был уже семнадцатый год, а для лошади это все равно, что для человека семьдесят седьмой.

– Я не понимаю ваших мудреных лошадиных слов, да, признаться, и не гонюсь за ними, – сказала улитка. – Мне был бы лопух, а его довольно: вот уже я четыре дня ползу, а он все еще не кончается. А за этим лопухом есть еще лопух, а в том лопухе, наверно, сидит еще улитка. Вот вам и все. И прыгать никуда не нужно – все это выдумки и пустяки; сиди себе да ешь лист, на котором сидишь. Если бы не лень ползти, давно бы ушла от вас с вашими разговорами; от них голова болит и больше ничего.

– Нет, позвольте, отчего же? – перебил кузнечик, – потрещать очень приятно, особенно о таких хороших предметах, как бесконечность и прочее такое. Конечно, есть практические натуры, которые только и заботятся о том, как бы набить себе живот, как вы или вот эта прелестная гусеница...

– Ах, нет, оставьте меня, прошу вас, оставьте, не троньте меня! – жалобно воскликнула гусеница: – я делаю это для будущей жизни, только для будущей жизни.

– Для какой там еще будущей жизни? – спросил гнедой.

– Разве вы не знаете, что я после смерти сделаюсь бабочкой с разноцветными крыльями?

Гнедой, ящерица и улитка этого не знали, но насекомые имели кое-какое понятие. И все немного помолчали, потому что никто не умел сказать ничего путного о будущей жизни.

– К твердым убеждениям нужно относиться с уважением, – затрещал, наконец, кузнечик. – Не желает ли кто сказать еще что-нибудь? Может быть, вы? – обратился он к мухам, и старшая из них ответила:

– Мы не можем сказать, чтобы нам было худо. Мы сейчас только из комнат; барыня расставила в мисках наваренное варенье, и мы забрались под крышку и наелись. Мы довольны. Наша маменька увязла в варенье, но что ж делать? Она уже довольно пожила на свете. А мы довольны.

– Господа, – сказала ящерица, – я думаю, что все вы совершенно правы! Но с другой стороны...

Но ящерица так и не сказала, что было с другой стороны, потому что почувствовала, как что-то крепко прижало ее хвост к земле.

Это пришел за гнедым проснувшийся кучер Антон; он нечаянно наступил своим сапожищем на компанию и раздавил ее. Одни мухи улетели обсасывать свою мертвую, обмазанную вареньем, маменьку, да ящерица убежала с оторванным хвостом. Антон взял гнедого за чуб и повел его из сада, чтобы запрячь в бочку и

ехать за водой, причем приговаривал: «ну, иди ты, хвостяка!», на что гнедой ответил только шептаньем.

А ящерица осталась без хвоста. Правда, через несколько времени он вырос, но навсегда остался каким-то тупым и черноватым. И когда ящерицу спрашивали, как она повредила себе хвост, то она скромно отвечала:

- Мне оторвали его за то, что я решилась высказать свои убеждения.

И она была совершенно права.

Attalea princeps

В одном большом городе был ботанический сад, а в этом саду – огромная оранжерея из железа и стекла. Она была очень красива: стройные витые колонны поддерживали всё здание; на них опирались легкие узорчатые арки, переплетенные между собою целой паутиной железных рам, в которые были вставлены стекла. Особенно хороша была оранжерея, когда солнце заходило и освещало ее красным светом. Тогда она вся горела, красные отблески играли и переливались, точно в огромном, мелко отшлифованном драгоценном камне.

Сквозь толстые прозрачные стекла виднелись заключенные растения. Несмотря на величину оранжереи, им было в ней тесно. Корни переплелись между собою и отнимали друг у друга влагу и пищу. Ветви деревьев мешались с огромными листьями пальм, гнули и ломали их и сами, налегая на железные рамы, гнулись и ломались. Садовники постоянно обрезали ветви, подвязывали проволоками листья, чтобы они не могли расти, куда хотят, но это плохо помогало. Для растений нужен был широкий простор, родной край и свобода. Они были уроженцы жарких стран, нежные, роскошные создания; они помнили свою родину и тосковали о ней. Как ни прозрачна стеклянная крыша, но она не ясное небо. Иногда, зимой, стекла обмерзали; тогда в оранжерее становилось совсем темно. Гудел ветер, бил в рамы и заставлял их дрожать. Крыша покрывалась наметенным снегом. Растения стояли и слушали вой ветра и вспоминали иной ветер, теплый, влажный, дававший им жизнь и здоровье. И им хотелось вновь почувствовать его веянье, хотелось, чтобы он покачал их ветвями, поиграл их листьями. Но в оранжерее воздух был неподвижен; разве только иногда зимняя

буря выбивала стекло, и резкая, холодная струя, полная инея, влетала под свод. Куда попадала эта струя, там листья бледнели, съеживались и увядали.

Но стекла вставляли очень скоро. Ботаническим садом управлял отличный ученый директор и не допускал никакого беспорядка, несмотря на то что большую часть своего времени проводил в занятиях с микроскопом в особой стеклянной будочке, устроенной в главной оранжерее.

Была между растениями одна пальма, выше всех и красивее всех. Директор, сидевший в будочке, называл ее по-латыни *Attalea*! Но это имя не было ее родным именем: его придумали ботаники. Родного имени ботаники не знали, и оно не было написано сажей на белой дощечке, прибитой к стволу пальмы. Раз пришел в ботанический сад приезжий из той жаркой страны, где выросла пальма; когда он увидел ее, то улыбнулся, потому что она напомнила ему родину.

– А! – сказал он. – Я знаю это дерево. – И он назвал его родным именем.

– Извините, – крикнул ему из своей будочки директор, в это время внимательно разрезывавший бритвою какой-то стебелек, – вы ошибаетесь. Такого дерева, какое вы изволили сказать, не существует. Это – *Attalea princeps*, родом из Бразилии.

– О да, – сказал бразильянец, – я вполне верю вам, что ботаники называют ее – *Attalea*, но у нее есть и родное, настоящее имя.

– Настоящее имя есть то, которое дается наукой, – сухо сказал ботаник и запер дверь будочки, чтобы ему не мешали люди, не понимавшие даже того, что уж если что-нибудь сказал человек науки, так нужно молчать и слушаться.

А бразильянец долго стоял и смотрел на дерево, и ему становилось всё грустнее и грустнее. Вспомнил он свою родину, ее солнце и небо, ее роскошные леса с чудными зверями и птицами, ее пустыни, ее чудные южные ночи. И вспомнил еще, что нигде не бывал он счастлив, кроме родного края, а он объехал весь свет. Он коснулся рукою пальмы, как будто бы прощаясь с нею, и ушел из сада, а на другой день уже ехал на пароходе домой.

А пальма осталась. Ей теперь стало еще тяжелее, хотя и до этого случая было очень тяжело. Она была совсем одна. На пять сажен возвышалась она над верхушками всех других растений, и эти другие растения не любили ее, завидовали ей и считали гордою. Этот рост доставлял ей только одно горе; кроме того, что все были вместе, а она была одна, она лучше всех помнила свое родное небо и больше всех тосковала о нем, потому что ближе всех была к тому, что заменяло им его: к гадкой стеклянной крыше. Сквозь нее ей виднелось иногда что-то голубое: то было небо, хоть и чужое, и бледное, но все-таки настоящее голубое небо. И когда растения болтали между собою, Attalea всегда молчала, тосковала и думала только о том, как хорошо было бы постоять даже и под этим бледненьким небом.

– Скажите, пожалуйста, скоро ли нас будут поливать? – спросила саговая пальма, очень любившая сырость. – Я, право, кажется, засохну сегодня.

– Меня удивляют ваши слова, соседка, – сказал пузатый кактус. – Неужели вам мало того огромного количества воды, которое на вас выливают каждый день? Посмотрите на меня: мне дают очень мало влаги, а я все-таки свеж и сочен.

– Мы не привыкли быть чересчур бережливыми, – отвечала саговая пальма. – Мы не можем расти на такой сухой и дрянной почве, как какие-нибудь кактусы. Мы не привыкли жить как-нибудь. И кроме всего этого, скажу вам еще, что вас не просят делать замечания.

Сказав это, саговая пальма обиделась и замолчала.

– Что касается меня, – вмешалась корица, – то я почти довольна своим положением. Правда, здесь скучновато, но уж я, по крайней мере, уверена, что меня никто не обдерет.

– Но ведь не всех же нас обдирали, – сказал древовидный папоротник. – Конечно, многим может показаться раем и эта тюрьма после жалкого существования, которое они вели на воле.

Тут корица, забыв, что ее обдирали, оскорбилась и начала спорить. Некоторые растения вступились за нее, некоторые за папоротник, и началась горячая перебранка. Если бы они могли двигаться, то непременно бы подрались.

– Зачем вы ссоритесь? – сказала Attalea. – Разве вы поможете себе этим? Вы только увеличиваете свое несчастье злобою и раздражением. Лучше оставьте ваши споры и подумайте о деле. Послушайте меня: растите выше и шире, раскидывайте ветви, напирайте на рамы и стекла, наша оранжерея рассыплется в куски, и мы выйдем на свободу. Если одна какая-нибудь ветка упрется в стекло, то, конечно, ее отрежут, но что сделают с сотней сильных и смелых стволов? Нужно только работать дружнее, и победа за нами.

Сначала никто не возражал пальме: все молчали и не знали, что сказать. Наконец саговая пальма решилась.

– Всё это глупости, – заявила она.

– Глупости! Глупости! – заговорили деревья, и все разом начали доказывать Attalea, что она предлагает ужасный вздор. – Несбыточная мечта! – кричали они. – Вздор! Нелепость! Рамы прочны, и мы никогда не сломаем их, да если бы и сломали, так что ж такое? Придут люди с ножами и с топорами, отрубят ветви, заделают рамы и всё пойдет по-старому. Только и будет, что отрежут от нас целые куски...

– Ну, как хотите! – отвечала Attalea. – Теперь я знаю, что мне делать. Я оставлю вас в покое: живите, как хотите, ворчите друг на друга, спорьте из-за подачек воды и оставайтесь вечно под стеклянным колпаком. Я и одна найду себе дорогу. Я хочу видеть небо и солнце не сквозь эти решетки и стекла, – и я увижу!

И пальма гордо смотрела зеленой вершиной на лес товарищей, раскинутый под нею. Никто из них не смел ничего сказать ей, только саговая пальма тихо сказала соседке-цикаде:

– Ну, посмотрим, посмотрим, как тебе отрежут твою большую башку, чтобы ты не очень зазнавалась, гордячка!

Остальные хоть и молчали, но все-таки сердились на Attalea за ее гордые слова. Только одна маленькая травка не сердилась на пальму и не обиделась ее речами. Это была самая жалкая и презренная травка из всех растений оранжереи: рыхлая, бледненькая, ползучая, с вялыми толстенькими листьями. В ней не было ничего замечательного, и она употреблялась в оранжерее только

для того, чтобы закрывать голую землю. Она обвивала собою подножие большой пальмы, слушала ее, и ей казалось, что Attalea права. Она не знала южной природы, но тоже любила воздух и свободу. Оранжерея и для нее была тюрьмой. «Если я, ничтожная, вялая травка, так страдаю без своего серенького неба, без бледного солнца и холодного дождя, то что должно испытывать в неволе это прекрасное и могучее дерево! – так думала она и нежно обвивалась около пальмы и ласкалась к ней. – Зачем я не большое дерево? Я послушалась бы совета. Мы росли бы вместе и вместе вышли бы на свободу. Тогда и остальные увидели бы, что Attalea права».

Но она была не большое дерево, а только маленькая и вялая травка. Она могла только еще нежнее обвиться около ствола Attalea и прошептать ей свою любовь и желание счастья в попытке.

– Конечно, у нас вовсе не так тепло, небо не так чисто, дожди не так роскошны, как в вашей стране, но все-таки и у нас есть и небо, и солнце, и ветер. У нас нет таких пышных растений, как вы и ваши товарищи, с такими огромными листьями и прекрасными цветами, но и у нас растут очень хорошие деревья: сосны, ели и березы. Я – маленькая травка и никогда не доберусь до свободы, но ведь вы так велики и сильны! Ваш ствол тверд, и вам уже недолго осталось расти до стеклянной крыши. Вы пробьете ее и выйдете на божий свет. Тогда вы расскажете мне, всё ли там так же прекрасно, как было. Я буду довольна и этим.

– Отчего же, маленькая травка, ты не хочешь выйти вместе со мною? Мой ствол тверд и крепок: опирайся на него, ползи по мне. Мне ничего не значит снести тебя.

– Нет уж, куда мне! Посмотрите, какая я вялая и слабая: я не могу приподнять даже одной своей веточки. Нет, я вам не товарищ. Растите, будьте счастливы. Только прошу вас, когда выйдете на свободу, вспоминайте иногда своего маленького друга!

Тогда пальма принялась расти. И прежде посетители оранжереи удивлялись ее огромному росту, а она становилась с каждым месяцем выше и выше. Директор ботанического сада приписывал такой быстрый рост хорошему уходу и гордился знанием, с каким он устроил оранжерею и вел свое дело.

– Да-с, взгляните-ка на *Attalea princeps*, – говорил он. – Такие рослые экземпляры редко встречаются и в Бразилии. Мы приложили всё наше знание, чтобы растения развивались в теплице совершенно так же свободно, как и на воле, и, мне кажется, достигли некоторого успеха.

При этом он с довольным видом похлопывал твердое дерево своею тростью, и удары звонко раздавались по оранжерее. Листья пальмы вздрагивали от этих ударов. О, если бы она могла стонать, какой вопль гнева услышал бы директор!

«Он воображает, что я расту для его удовольствия, – думала *Attalea*. – Пусть воображает!..»

И она росла, тратя все соки только на то, чтобы вытянуться, и лишая их свои корни и листья. Иногда ей казалось, что расстояние до свода не уменьшается. Тогда она напрягала все силы. Рамы становились всё ближе и ближе, и, наконец, молодой лист коснулся холодного стекла и железа.

– Смотрите, смотрите, – заговорили растения, – куда она забралась! Неужели решится?

– Как она страшно выросла, – сказал древовидный папоротник.

– Что ж, что выросла! Эка невидаль! Вот если б она сумела растолстеть так, как я! – сказала толстая цикада, со стволом, похожим на бочку. – И чего тянется? Всё равно ничего не сделает. Решетки прочны, и стекла толсты.

Прошел еще месяц. *Attalea* подымалась. Наконец она плотно уперлась в рамы. Расти дальше было некуда. Тогда ствол начал сгибаться. Его листовая вершина скомкалась, холодные прутья рамы впились в нежные молодые листья, перерезали и изуродовали их, но дерево было упрямо, не жалело листьев, несмотря ни на что давило на решетки, и решетки уже подавались, хотя были сделаны из крепкого железа.

Маленькая травка следила за борьбой и замирала от волнения.

– Скажите мне, неужели вам не больно? Если рамы уж так прочны, не лучше ли отступить? – спросила она пальму.

– Больно? Что значит больно, когда я хочу выйти на свободу? Не ты ли сама ободряла меня? – ответила пальма.

– Да, я ободряла, но я не знала, что это так трудно. Мне жаль вас. Вы так страдаете.

– Молчи, слабое растение! Не жалею меня! Я умру или освобожусь!

И в эту минуту раздался звонкий удар. Лопнула толстая железная полоса. Посыпались и зазвенели осколки стекол. Один из них ударил в шляпу директора, выходившего из оранжереи.

– Что это такое? – вскрикнул он, вздрогнув, увидя летящие по воздуху куски стекла. Он отбежал от оранжереи и посмотрел на крышу. Над стеклянным сводом гордо высилась выпрямившаяся зеленая крона пальмы.

«Только-то? – думала она. – И это всё, из-за чего я томила и страдала так долго? И этого-то достигнуть было для меня высочайшей целью?»

Была глубокая осень, когда Attalea выпрямила свою вершину в пробитое отверстие. Моросил мелкий дождик пополам со снегом; ветер низко гнал серые клочковатые тучи. Ей казалось, что они охватывают ее. Деревья уже оголились и представлялись какими-то безобразными мертвецами. Только на соснах да на елях стояли темно-зеленые хвои. Угрюмо смотрели деревья на пальму: «Замерзнешь! – как будто говорили они ей. – Ты не знаешь, что такое мороз. Ты не умеешь терпеть. Зачем ты вышла из своей теплицы?»

И Attalea поняла, что для нее всё было кончено. Она застывала. Вернуться снова под крышу? Но она уже не могла вернуться. Она должна была стоять на холодном ветре, чувствовать его порывы и острое прикосновение снежинок, смотреть на грязное небо, на нищую природу, на грязный задний двор ботанического сада, на скучный огромный город, видневшийся в тумане, и ждать, пока люди там, внизу, в теплице, не решат, что делать с нею.

Директор приказал спилить дерево.

– Можно бы надстроить над нею особенный колпак, – сказал он, – но надолго ли это? Она опять вырастет и всё сломает. И притом это будет стоить чересчур дорого. Спилить ее!

Пальму привязали канатами, чтобы, падая, она не разбила стен оранжереи, и низко, у самого корня, перепилили ее. Маленькая травка, обвивавшая ствол дерева, не хотела расстаться со своим другом и тоже попала под пилу. Когда пальму вытащили из оранжереи, на отрезе оставшегося пня валялись размозженные пилою, истерзанные стебельки и листья.

– Вырвать эту дрянь и выбросить, – сказал директор. – Она уже пожелтела, да и пила очень испортила ее. Посадить здесь что-нибудь новое.

Один из садовников ловким ударом заступа вырвал целую охапку травы. Он бросил ее в корзину, вынес и выбросил на задний двор, прямо на мертвую пальму, лежавшую в грязи и уже полузасыпанную снегом.

Повести и рассказы

Встреча

На десятки верст протянулась широкая и дрожащая серебряная полоса лунного света; остальное море было черно; до стоявшего на высоте доходил правильный, глухой шум раскатывавшихся по песчаному берегу волн; еще более черные, чем самое море, силуэты судов покачивались на рейде; один огромный пароход («вероятно, английский», – подумал Василий Петрович) поместился в светлой полосе луны и шипел своими парами, выпуская их клочковатой, тающей в воздухе струей; с моря несло сырым и соленым воздухом; Василий Петрович, до сих пор не выдавший ничего подобного, с удовольствием смотрел на море, лунный свет, пароходы, корабли и радостно, в первый раз в жизни, вдыхал морской воздух. Он долго наслаждался новыми для него ощущениями, повернувшись спиной к городу, в который приехал только сегодня и в котором должен был жить многие и многие годы. За ним пестрая толпа публики гуляла

по бульвару, слышалась то русская, то нерусская речь, то чинные и тихие голоса местных почтенных особ, то щебетанье барышень, громкие и веселые голоса взрослых гимназистов, ходивших кучками около двух или трех из них. Взрыв хохота в одной из таких групп заставил Василия Петровича обернуться. Веселая гурьба шла мимо; один из юношей говорил что-то молоденькой гимназистке; товарищи шумели и перебивали его горячую и, по-видимому, оправдательную речь.

- Не верьте, Нина Петровна! Все врет! Выдумывает!

- Да право же, Нина Петровна, я нисколько не виноват!

- Если вы, Шевырев, еще когда-нибудь вздумаете меня обманывать... -
принужденно-чинным молодым голосом заговорила девушка.

Конца Василий Петрович не дослышал, потому что гурьба прошла мимо. Через полминуты из темноты вновь послышался взрыв смеха.

«Вот она, моя будущая нива, на которой я, как скромный пахарь, буду работать», - подумал Василий Петрович, во-первых, потому, что он был назначен учителем в местную гимназию, а во-вторых, потому, что любил фигуральную форму мысли, даже когда не высказывал ее вслух. «Да, придется работать на этом скромном поприще, - думал он, вновь садясь на скамью лицом к морю. - Где мечты о профессуре, о публицистике, о громком имени? Не хватило пороху, брат Василий Петрович, на все эти затеи; попробуй-ка здесь поработать!»

И красивые и приятные мысли зашевелились в голове нового учителя гимназии. Он думал о том, как он будет с первых классов гимназии угадывать «искру божию» в мальчиках; как будет поддерживать натуры, «стремящиеся сбросить с себя иго тьмы»; как под его надзором будут развиваться молодые, свежие силы, «чуждые житейской грязи»; как, наконец, из его учеников со временем могут выйти замечательные люди... Даже такие картины рисовались в его воображении: сидит он, Василий Петрович, уже старый, седой учитель, у себя, в своей скромной квартире, и посещают его бывшие его ученики, и один из них - профессор такого-то университета, известный «у нас и в Европе», другой - писатель, знаменитый романист, третий - общественный деятель, тоже известный. И все они относятся к нему с уважением. «Это ваши добрые семена, запавшие в мою душу, когда я был мальчиком, сделали из меня человека,

уважаемый Василий Петрович», – говорит общественный деятель и с чувством жмет руку своему старому учителю...

Впрочем, Василий Петрович недолго занимался такими возвышенными предметами, скоро мысль его перешла на вещи, непосредственно касавшиеся его настоящего положения. Он вынул из кармана новый бумажник и, пересчитав свои деньги, начал размышлять о том, сколько у него останется за покрытием всех необходимых расходов. «Как жаль, что я так необдуманно тратил деньги дорогою, – подумал он. – Квартира... ну, положим, рублей двадцать в месяц, стол, белье, чай, табак... Тысячу рублей в полгода, во всяком случае, сберегу. Наверно, здесь можно будет достать уроки по хорошей цене, этак рубля по четыре, по пяти...» Чувство довольства охватило его, и ему захотелось полезть в карман, где лежали два рекомендательных письма на имя местных тузов, и в двадцатый раз перечесть их адреса. Он вынул письма, бережно развернул бумагу, в которой они были завернуты, но прочесть адреса ему не удалось, потому что лунный свет не был достаточно силен, чтобы доставить Василию Петровичу это удовольствие. Вместе с письмами была завернута фотографическая карточка. Василий Петрович повернул ее прямо, к месяцу, и старался рассмотреть знакомые черты. «О, моя Лиза!» – проговорил он почти вслух и вздохнул не без приятного чувства. Лиза была его невеста, оставшаяся в Петербурге и ожидавшая, пока Василий Петрович не скопит тысячи рублей, которую молодая чета считала необходимою для первоначального обзаведения.

Вздыхнув, он спрятал в левый боковой карман карточку и письма и принялся мечтать о будущей семейной жизни. И эти мечты показались ему еще приятнее, чем даже мечты об общественном деятеле, который придет к нему благодарить за посеянные в его сердце добрые семена.

Море шумело далеко внизу, ветер становился свежее. Английский пароход вышел из полосы лунного света, и она блестела, сплошная, и переливалась тысячами матово-блестящих всплесков, уходя в бесконечную морскую даль и становясь все ярче и ярче. Не хотелось встать со скамьи, оторваться от этой картины и идти в тесный номер гостиницы, в котором остановился Василий Петрович. Однако было уже поздно; он встал и пошел вдоль по бульвару.

Господин, в легком костюме из шелковой сырцовой материи и в соломенной шляпе, с наверхнутым на тулью кисейным полотенцем (летний костюм местных щеголей), встал со скамейки, мимо которой проходил Василий Петрович, и сказал:

– Позвольте закурить.

– Сделайте одолжение, – ответил Василий Петрович. Красный отблеск озарил знакомое ему лицо.

– Николай, друг мой! Ты ли это?

– Василий Петрович?

– Он самый... Ах, как я рад! Вот не думал, не гадал, – говорил Василий Петрович, заключая друга в объятия и троекратно лобзая его. – Какими судьбами?

– Очень просто, на службе. А ты как?

– Я учителем гимназии сюда назначен. Только что приехал.

– Где же ты остановился? Если в гостинице, едем, пожалуйста, ко мне. Я очень рад видеть тебя. У тебя ведь нет здесь знакомых? Поедем ко мне, поужинаем, поболтаем, вспомним старину.

– Поедем, поедем, – согласился Василий Петрович. – Я очень, очень рад! Приехал сюда, как в пустыню, – и вдруг такая радостная встреча. Извозчик! – закричал он.

– Не нужно, не кричи. Сергей, давай! – громко и спокойно произнес друг Василия Петровича.

К тротуару подкатила щегольская коляска; хозяин вскочил в нее. Василий Петрович стоял на тротуаре и в недоумении смотрел на экипаж, вороных коней и толстого кучера.

– Кудряшов, эти лошади – твои?

– Мои, мои! Что, не ожидал?

– Удивительно... Ты ли это?

- Кто же другой, как не я? Ну, полезай в коляску, еще успеем поговорить.

Василий Петрович влез в коляску, уселся рядом с Кудряшовым, и коляска покатила, дребезжа и подсакивая по мостовой. Василий Петрович сидел на мягких подушках и, покачиваясь, улыбался. «Что за притча! – думал он. – Давно ли Кудряшов был беднейшим студентом, а теперь – коляска!» Кудряшов, положив вытянутые ноги на переднюю скамейку, молчал и курил сигару. Через пять минут экипаж остановился.

- Ну, братец, выходи. Покажу тебе мою скромную хижину, – сказал Кудряшов, сойдя с подножки и помогая Василию Петровичу вылезть.

Прежде чем войти в скромную хижину, гость окинул ее взглядом. Луна была за нею и не освещала ее; поэтому он мог заметить только, что хижина была одноэтажная, каменная, в десять или двенадцать больших окон. Зонтик на колонках с завитками, кое-где позолоченными, висел над дверью из тяжелого дуба с зеркальными стеклами, бронзовой ручкой в виде птичьей лапы, держащей хрустальный многогранник, и блестящей медной доской с фамилией хозяина.

- Однако хижина у тебя, Кудряшов! Это не хижина, а, так сказать, палаццо, – сказал Василий Петрович, когда они вошли в переднюю с дубовой мебелью и зиявшим черною пастью камином. – Неужели собственная?

- Нет, брат, до этого еще не дошло. Нанимаю. Недорого, полторы тысячи.

- Полторы! – протянул Василий Петрович.

- Выгоднее платить полторы тысячи, чем затратить капитал, который может дать гораздо больший процент, если не обращен в недвижимость. Да и денег много нужно: ведь уж если строить, так не этакую дрянь.

- Дрянь! – воскликнул в изумлении Василий Петрович.

- Конечно, дом неважный. Ну, пойдем, пойдем скорее...

Василий Петрович успел уже снять пальто и направился за хозяином. Обстановка квартиры Кудряшова дала новую пищу его удивлению. Целый ряд высоких комнат с паркетными полами, оклеенных дорогими, тисненными золотом, обоями; столовая «под дуб» с развешанными по стенам плохими моделями дичи, с огромным резным буфетом, с большим круглым столом, на который лился целый поток света из висячей бронзовой лампы с молочным абажуром; зал с роялем, множеством разной мебели из гнутого бука, диванчиков, скамеек, табуреток, стульев, с дорогими литографиями и скверными олеографиями в раззолоченных рамах; гостиная, как водится, с шелковой мебелью и кучей ненужных вещей. Казалось, хозяин квартиры вдруг разбогател, выиграл двести тысяч, что ли, и на скорую руку устроил себе квартиру на широкую ногу. Все было куплено сразу, куплено не потому, что было нужно, а потому, что в кармане зашевелились деньги, нашедшие себе выход для покупки рояля, на котором, насколько знал Василий Петрович, Кудряшов мог играть только одним пальцем; скверной старой картины, одной из десятков тысяч, приписываемых второстепенному фламандскому мастеру, на которую, наверно, никто не обращал внимания; Шахматов китайской работы, в которые нельзя было играть, так они были тонки и воздушны, но в головках у которых было выточено по три шарика, заключенных один в другой, и множества других ненужных вещей.

Друзья вошли в кабинет. Здесь было уютнее. Большой письменный стол, заставленный разною бронзовою и фарфоровою мелочью, заваленный бумагами, чертежными и рисовальными принадлежностями, занимал середину комнаты. По стенам висели огромные раскрашенные чертежи и географические карты, а под ними стояли два низеньких турецких дивана с шелковыми мутаками. Кудряшов, обняв Василия Петровича за талию, подвел его прямо к дивану и усадил на мягких тюфяках.

– Ну, очень рад, очень рад встретить старого товарища, – сказал он.

– Я тоже... Знаешь ли, приехал, как в пустыню, и вдруг такая встреча! Знаешь ли, Николай Константиныч, при виде тебя так много зашевелилось в душе, так много воскресло в памяти воспоминаний...

– О чем это?

– Как о чем? О студенчестве, о времени, когда жилось так хорошо, если не в материальном, то в нравственном отношении. Помнишь...

– Что помнить-то? Как мы с тобою собачью колбасу жрали? Будет, брат, надоело... Сигару хочешь? Regalia Imperialia, или как там ее; знаю только, что полтинник штука.

Василий Петрович взял из ящика предлагаемую драгоценность, вынул из кармана ножичек, обрезал кончик сигары, закурил ее и сказал:

– Николай Константиныч, я решительно как во сне. Каких-нибудь несколько лет – и у тебя такое место.

– Что место! Место, брат, плюнь да отойди.

– Как же это? Да ты сколько получаешь?

– Каких? Жалованья?

– Ну да, содержания.

– Жалованья получаю я, инженер, губернский секретарь Кудряшов второй, – тысячу шестьсот рублей в год.

У Василия Петровича вытянулось лицо.

– Как же это? Откуда это все?

– Эх, брат, простота ты! Откуда? Из воды и земли, из моря и суши. А главное, вот откуда.

И он ткнул себя указательным пальцем в лоб.

– Видишь вон эти картинки, что по стенам висят?

– Вижу, – ответил Василий Петрович: – что же дальше?

– Знаешь ли, что это?

– Нет, не знаю.

Василий Петрович встал с дивана и подошел к стене. Синяя, красная, бурая и черная краски ничего не говорили его уму, равно как и какие-то таинственные цифры около точечных линий, сделанные красными чернилами.

– Что это такое? Чертежи?

– Чертежи-то чертежи, но чего?

– Право, друг мой, не знаю.

– Чертежи эти изображают, милейший Василий Петрович, будущий мол. Знаешь, что такое мол?

– Ну, конечно. Ведь я все-таки учитель русского языка. Мол – это такая... как бы сказать... ну, плотина, что ли...

– Именно плотина. Плотина, служащая для образования искусственной гавани. На этих чертежах изображен мол, который теперь строится. Ты видел море сверху?

– Как же, конечно! Необыкновенная картина! Но построек я не заметил.

– Мудрено и заметить, – сказал Кудряшов со смехом. – Этот, мол, почти весь не в море, Василий Петрович, а здесь, на суше.

– Где же это?

– Да вот у меня и у прочих строителей: у Кноблоха, Пуйциковского и у прочих. Это – между нами, конечно: тебе я говорю это как товарищу. Что ты так уставился на меня? Дело самое обыкновенное.

– Послушай, это, наконец, ужасно! Неужели ты говоришь правду? Неужели ты не брезгаешь нечестными средствами для достижения этого комфорта? Неужели все прошлое служило только для того, чтобы довести тебя до... до... И ты так спокойно говоришь об этом...

– Стой, стой, Василий Петрович! Пожалуйста, без сильных выражений. Ты говоришь: «нечестные средства»? Ты мне скажи сперва, что значит честно и что значит нечестно. Сам я не знаю; быть может, забыл, а думаю, что и не помнил; да сдаётся мне, и ты, собственно говоря, не помнишь, а так только напяливаешь на себя какой-то мундир. Да и вообще ты это оставь; прежде всего, это невежливо. Уважай свободу суждения. Ты говоришь – нечестно; говори, пожалуй, но не брани меня: ведь я не ругаю тебя за то, что ты не одного со мною мнения. Все дело, брат, во взгляде, в точке зрения, а так как их много, точек этих, то плюнем мы на это дело и пойдём в столовую водку пить и о приятных предметах разговаривать.

– Ах, Николай, Николай, больно мне смотреть на тебя.

– Это ты можешь; можешь душою болеть, сколько тебе угодно. Пусть будет больно; пройдет! Приглядишься, присмотришься, сам скажешь: «какая я, однако, телятина»; так и скажешь, помяни мое слово. Пойдем-ка, выпьем по рюмочке и забудем о заблудших инженерах; на то и мозги, дружище, чтобы заблуждаться... Ведь ты, учитель мой любезный, сколько будешь получать, а?

– Тебе все равно.

– Ну, например?

– Ну, тысячи три заработаю с частными уроками.

– Вот видишь: за три-то тысячи таскаться всю жизнь по урокам! А я сижу себе да посматриваю: хочу – делаю, хочу – нет; если бы фантазия пришла хоть целый день в потолок плевать, и то можно. А денег... денег столько, что они – «вещь для нас пустая».

В столовой, куда они вошли, все было готово для ужина. Холодный ростбиф возвышался розовой горой. Банки с консервами пестрели разноцветными английскими надписями и яркими рисунками. Целый ряд бутылок воздвигался на столе. Приятели выпили по рюмке водки и приступили к ужину. Кудряшов ел медленно и с расстановкою; он совершенно углубился в свое занятие.

Василий Петрович ел и думал, думал и ел. Он был в большом смущении и решительно не знал, как ему быть. По принятым им убеждениям, он должен был бы поспешно скрыться из дома своего старого товарища и никогда в него больше не заглядывать. «Ведь этот кусок – краденый, – думал он, положив себе в рот кусок и прихлебывая подлитое обязательным хозяином вино. – А сам что я делаю, как не подлость?» Много таких определений шевелилось в голове бедного учителя, но определения так и остались определениями, а за ними скрывался какой-то тайный голос, возражавший на каждое определение: «Ну, так что ж?» И Василий Петрович чувствовал, что он не в состоянии разрешить этого вопроса, и продолжал сидеть. «Ну что ж, буду наблюдать», – мелькнуло у него в голове в виде оправдания, после чего он и сам перед собой сконфузился. «Для чего мне наблюдать, писатель я, что ли?»

– Этакое мяса, – начал Кудряшов, – ты обрати внимание, не достанешь в целом городе.

И он рассказал Василию Петровичу длинную историю о том, как он обедал у Кноблоха, как его поразило своим достоинством поданный ростбиф, как он узнал, откуда доставать такой, и как, наконец, достал.

– Ты попал как раз кстати, – сказал он в заключение рассказа о мясе. – Едал ли ты что-нибудь подобное?

– Действительно, ростбиф отличный, – ответил Василий Петрович.

– Превосходный, братец! Я люблю, чтобы все было, как следует. Да что ты не пьешь? Постой, вот я тебе налью вина.

Последовала не менее длинная история о вине, в которой участвовал и английский шкипер, и торговый дом в Лондоне, и тот же Кноблох, и таможня. Рассказывая о вине, Кудряшов попивал его и, по мере того как пил, оживлялся. На щеках его вялого лица обозначались румяные пятна, речь становилась быстрее и оживленнее.

– Да что ж ты молчишь? – наконец спросил он Василия Петровича, который действительно упорно молчал, выслушивая эпопеи о мясе, вине, сыре и прочих благодатях, украшавших собою стол инженера.

– Так, брат, не говорится что-то.

– Не говорится... вот вздор! Ты, я вижу, все еще киснешь по поводу моего признания. Жалею, очень жалею, что сказал; с большим бы удовольствием поужинали, если б не этот проклятый мол... Да ты лучше не думай об этом, Василий Петрович, брось... А? Васенька, плюнь, право! Что ж делать, братец, не оправдал я надежд. Жизнь не школа. Да я не знаю, долго ли и ты удержишься на своей стезе.

– Пожалуйста, не делай обо мне предположений, – сказал Василий Петрович.

– Обиделся?... Конечно, не удержишься. Что дало тебе твое бескорыстие? Разве ты теперь спокоен? Разве не думаешь каждый день о том, согласны ли твои поступки с твоими идеалами, и не убеждаешься ли каждый день в том, что несогласны? Ведь, правда, а? Выпей вина, хорошее вино.

Он налил и себе рюмку, посмотрел на свет, попробовал, щелкнул губами и выпил.

– Ведь вот, любезный мой друг, ты думаешь, я не знаю, какая у тебя в голове теперь мысль сидит? Доподлинно знаю. «Зачем, думаешь ты, я у этого человека сижу? Очень он мне нужен! Разве не могу я обойтись без его вина и сигар?» Пстой, пстой, дай договорить! Я вовсе не думаю, что ты сидишь у меня из-за вина и сигар. Во все нет; если бы ты и очень захотел их, так не стал бы лизоблюдничать. Лизоблюдство – вещь очень тяжелая. Ты сидишь у меня и говоришь со мною просто потому, что не можешь решить, действительно ли я преступник. Не возмущаю я тебя, да и все. Конечно, для тебя это очень обидно, потому что в твоей голове расположены под разными рубриками убеждения, и, подогнанный под них, я, твой бывший товарищ и друг, оказываюсь мерзавцем, а между тем вражды ко мне ты никакой чувствовать не можешь. Убеждения – убеждениями, а я сам по себе товарищ, добрый малый и даже, можно сказать, добрый человек. Ведь ты знаешь, что я не способен никого обидеть...

– Пстой, Кудряшов. Откуда у тебя все это? – Василий Петрович обвел рукой. – Сам говоришь, чужое: ну, тот и обижен, у кого похищено.

– Легко сказать: у кого похищено. Я вот думаю, думаю, кого я обидел, – и все не могу понять, кого. Ты не знаешь, как это дело делается; я расскажу тебе, и ты,

может быть, согласишься со мною, что найти обиженного не так-то легко.

Кудряшов позвонил. Явилась бесстрастная лакейская фигура в черном фраке.

– Иван Павлыч, принеси мне из кабинета чертеж. Между окнами висит. Ты посмотри, Василий Петрович, дело-то какое грандиозное: право, я даже поэзию в нем нынче находить стал.

Иван Павлыч бережно принес огромный лист, наклеенный на коленкор. Кудряшов взял его, раздвинул около себя тарелки, бутылки и рюмки и разложил чертеж на забрызганной красным вином скатерти.

– Посмотри сюда, – сказал он. – Вот тебе поперечный разрез нашего мола, вот его продольный разрез. Видишь голубую краску? Это море. Глубина его здесь настолько велика, что начинать кладку со дна нельзя; поэтому мы приготавливаем для мола прежде всего постель.

– Постель? – спросил Василий Петрович. – Странное название.

– Постель каменную, из огромных булыжников, не меньше одного кубического фута объемом. – Кудряшов отвинтил от часового ключика крошечный серебряный циркуль и взял им на чертеже какую-то маленькую линию. – Смотри, Василий Петрович, – это сажень. Если мы ею смерим постель поперек, то окажется без малого пятьдесят сажень ширины. Не узка постелька, не правда ли? Такой ширины каменная масса выводится со дна моря до шестнадцати футов ниже его поверхности. Если ты сообразишь ширину постели и огромную длину, то можешь иметь некоторое представление о громадности этой массы камня. Иногда, знаешь ли, целый день барка за баркой подходит к молу, барка за баркой выбрасывает свой груз, а смеряешь – приращение самое ничтожное. Точно в бездну валят камень... Постель выкрашена здесь на плане грязно-серой краской. Ее подвигают вперед, а от берега начинается на ней уже другая работа. Паровыми кранами спускают на эту постель огромнейшие искусственные камни, кубические глыбы, слепленные из булыжника и цемента. Каждый такой кусок величиною в кубическую сажень и весит многие сотни пудов. Пар поднимает их, поворачивает и укладывает рядами. Странное чувство испытываешь, когда легким нажатием руки заставляешь такую массу подниматься и опускаться по своему желанию. Когда такая масса повинуется тебе, чувствуешь могущество человека... Видишь, вот они, эти кубики. – Он

показал, циркулем. – Кладка из них доводится почти до поверхности воды, а на ней начинается уже верхняя каменная кладка из тесаного камня. Так вот какое это дело; оно не уступит любой египетской пирамиде. Вот тебе в общих чертах работа, которая тянется уже несколько лет, а сколько времени еще протянется – бог знает. Желательно бы, чтобы подольше... Впрочем, если она будет идти так, как последнее время, то, пожалуй, на наш век хватит.

– Ну, что ж дальше? – спросил Василий Петрович после долгого молчания.

– Дальше? Ну, а мы сидим на своих местах и получаем, сколько следует.

– Я еще не вижу из твоего рассказа возможности получить.

– Молод ты, вот что! Впрочем, мы с тобой, кажется, ровесники; только опыт, которого тебе не хватает, умудрил и состарил меня. Дело вот в чем: тебе известно, что во всяком море бывают бури? Они-то и действуют. Они размывают каждый год постель, а мы кладем новую.

– Все же я не вижу возможности...

– Кладем мы ее, – спокойно продолжал Кудряшов, – на бумаге, вот здесь, на чертеже, потому что только на чертеже буря ее и размывает.

Василий Петрович весь превратился в недоумение.

– Потому что не могут же на самом деле размыть постель волны, достигающие только восьми футов высоты. Наше море не океан, да и там такие молы, как наш, выдерживают; а у нас на двух с лишним сажнях глубины, где кончается постель, почти что мертвая тишина. Слушай, Василий Петрович, как дела делаются. Весною, после осенних и зимних непогод, мы собираемся и ставим вопрос: сколько в этом году размыло постели? Берем чертежи и отмечаем. Ну, и пишем, куда следует: размыло, дескать, бурями столько-то и столько-то кубических сажен начатых работ. Оттуда отвечают: стройте, чините, черт с вами! Ну, мы и чиним.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/garshin_vsevolod/izbrannoe

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)